

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Проблема характера в исторических произведениях начала XVII в.

В русской истории — в том виде, как она писалась дворянскими и буржуазными историками XIX в., — есть одно странное и вызывающее недоумение обстоятельство. Сильные характеры и яркие характеристики этих сильных характеров возникают в изложении ее только с XVI в.

Это особенно ясно уже у Карамзина. Карамзин ставил себе одной из главных задач раскрыть читателю „характер наших древних героев“. И при этом он признавался сам: „До сих пор (т. е. до XVI в.) я только хитрил и мудрил, выпутываясь из трудностей. Вижу за собою песчаную степь африканскую“.¹ Первым характером, на котором прерывалась эта „степь африканская“ для Карамзина, был характер Грозного. В письме к А. И. Тургеневу он сообщал: „Оканчиваю Василья Ивановича и мысленно уже смотрю на Грозного, какой славный характер для исторической живописи! Жаль, если выдам историю без сего любопытного царствования! Тогда она будет как павлин без хвоста“.²

Казалось бы Иван Грозный — первый сильный характер в русской истории. За ним следует ряд других: Борис, Самозванец, Гермоген...

Ту же мысль — об отсутствии ярких характеров в русской истории до Грозного находим мы и у В. О. Ключевского: „Исторические памятники XIV и XV вв. не дают нам возможности живо воспроизвести облик каждого из этих князей. Московские великие князья являются в этих памятниках довольно бледными фигурами, преемственно сменявшимися на великокняжеском столе под именами Ивана, Семена, другого Ивана, Дмитрия, Василия, другого Василия. Всматриваясь в них, легко заметить, что перед нами проходят не своеобразные личности, а однообразные повторения одного и того же фамильного типа. Все московские князья до Ивана III, как две капли

¹ М. Погодин. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, М., 1866, т. II, стр. 87, письмо из Парижа 1790 г.

² Там же, стр. 119.

воды, похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий¹.

И у Ключевского, как и у Карамзина, яркие характеристики „древних героев“ русской истории начинаются только с Грозного.

Вспомним, что и у других историков, и в исторической беллетристике, и в исторической драматургии — главные характеры, привлекавшие наибольшее внимание ученых, художников, — это Грозный, Борис, Самозванец, Шуйский. Чем объяснить такое странное положение? Неужели и, в самом деле, сложные и сильные характеры появляются в русской истории только с половины XVI в.?

Как будет ясно из дальнейшего, многое в этой картине зависело от самих исторических источников. Это особенно ясно у Карамзина, который ставил себе главной задачей художественный пересказ древних источников, но и в других случаях, когда мы имеем дело с тем же „художественным“ воссозданием исторической действительности (у Соловьева, у Ключевского), мы видим то же следование источникам, их характеристикам. Образы русских исторических деятелей второй половины XVI в. — начала XVII в. были подсказаны этими источниками главным образом „художественно“. Поразительные по своеобразию характеристики, созданные в повествовательной литературе начала XVII в., оказались действенными для всей исторической литературы последующего времени. Пересматривались факты, но не пересматривались характеристики. Критически взвешивались все сведения частного характера, но при создании основных исторических обобщений историки и писатели нового времени долго оставались в плену у художественных образов, созданных авторами начала XVII в.

Начало XVII в. было временем, когда человеческий характер был впервые „открыт“ для писателей во всей его сложности и противоречивости.² До XVII в. проблема „характера“ вообще не стояла в рус-

¹ В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. II, М. — П., 1923, стр. 58—59.

² Мысль об „открытии“ человеческого характера в литературе начала XVII в. была впервые высказана О. А. Державиной в статье „Анализ образов повести XVII в. о царевиче Димитрии Угличском“. Приведу полностью высказывание О. А. Державиной. Говоря о размышлениях дьяка Ивана Тимофеева по поводу характера Бориса Годунова, О. А. Державина пишет: „Такое размышление над характером человека (мы встречаем его в зачаточном виде и у других писателей начала XVII в.) — большая новость в древней русской литературе, где личность обычно была выразительницей божественной воли или «сосудом дьявольским». Правда, у писателей XVII в., рядом с этой новой чертой, почти всюду мы читаем и ссылку на сатану, врага рода человеческого, который влагает злые мысли в голову Бориса, — так, новые черты сосуществуют рядом со старым традиционным, средневековым объяснением. Но все же появление этих элементов подлинной характеристики очень знаменательно. Оно указывает на растущий интерес к человеку как личности, к его индивидуальным, отличающим его от других людей, особенностям. В сложном образе Годунова древне-русский писатель впервые столкнулся с нелегкой задачей — дать характеристику живого человека, в котором перемешаны и хорошие и дурные качества, которого, как выдающуюся личность с ярко выраженной индивидуальностью,

ской литературе. И это „открытие“ настолько поразило воображение писателей, что они в основном устремили свое внимание именно сюда — на человеческую личность, поставили ее в центр своих сочинений, и свое отношение к историческим характерам сделали главным объектом своего писательства. Характеристики, созданные ими своим современникам, и создали впечатление, что „характеры“ в русской истории появляются только с Грозного.

* * *

Уже в XVI в. постепенно формируется новый тип исторических сочинений, новое отношение к самому материалу исторических сочинений. Старые летописные принципы работы — составление сводов, исторических компиляций — с сохранением в их составе предшествующих исторических сочинений, как своего рода документального материала,¹ в XVI в. в значительной мере поколеблены. Авторы исторических сочинений XVI в. стремятся к проведению в основном двух новых принципов: единства точки зрения на исторические события и единства темы исторических сочинений.

Требование единства точки зрения на весь описываемый исторический процесс сказывается, прежде всего, в отношении авторов к материалу, послужившему источником их работы. Летописцы предшествующих XI—XV вв. подвергали тексты используемых ими летописей весьма скупой и осторожной переработке. Они стремились сохранить тексты своих источников. Историки же XVI в., будь то автор Степенной книги или автор Казанской истории, усиленно перерабатывают используемый ими материал, стремясь к единству всего повествования: идейному и даже стилистическому. Они стремятся к строгому и постоянному подчинению всего исторического повествования единой авторской точке зрения. Политическая точка зрения авторов исторических произведений никогда прежде не выступала с такою отчетливостью, никогда прежде не была проведена с таким упорством во всем изложении. Авторы исторических произведений XVI в. проявили необыкновенное трудолюбие в преодолении всяческих трудностей на этом пути, в том числе и стилистических (вспомним стилистическую отделку Степенной книги, Казанской истории и др.).

Требование единства темы привело к образованию нового типа исторического повествования: сочинений, посвященных ограниченному историческому периоду или одному историческому лицу. Предшествующие летописи, как правило, начинались „от сотворения мира“,

нельзя уложить в привычную схему. И надо сказать, что лучшие из писателей XVII в. справились со своей задачей неплохо. Мешало делу предвзятое мнение, с которым все они вольно или невольно подходили к личности Годунова, и та дидактическая цель, какую они себе ставили“ (Уч. зап. Моск. гор. пед. инст., т. VII, Каф. русск. лит., вып. 1, М., 1946, стр. 30).

¹ См. мою статью „О летописном периоде русской историографии“. *Вопр. ист.*, 1948, № 9.

либо от начала Русской земли. Даже узко местные летописи открывались обычно с сокращенного изложения событий, описанных в Повести временных лет, или с кратких выдержек из хронографов. Этот летописный тип изложения сохраняется и в XVI в. („Никоновская летопись“, Лицевой свод), но рядом с ним вырастает и новая форма исторического повествования: „Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича“, посвященный только Грозному, „История о московском великом князе Иване Васильевиче“, также посвященная только Грозному, „История о Казанском царстве“ и др. Во всех этих произведениях единство темы облегчало пронизывание всего повествования единством точки зрения, и, наоборот, единая точка зрения приводила к сужению исторического повествования до одной темы: биографии монарха, описания истории одного города и т. п., или до обзора исторических событий ограниченного периода.

Но кроме этих двух взаимосвязанных новостей исторического повествования XVI в. — единства точки зрения на исторические события и единства темы исторического повествования — уже XVI век дает себя знать и в пробуждении интереса к исторической личности. Именно историческая личность становится в центр повествования „Летописца начала царства“, „Истории о великом князе московском“, „Степенной книги“. В Никоновском летописном своде этот интерес к исторической личности проявляется в риторическом развитии характеристик (особенно некрологических), в снабжении упоминаний об исторических лицах генеалогическими справками, в придаче мотивировок действиям тех или иных исторических лиц.

Необходимо отметить, однако, что на первых порах речь может идти только о развитии интереса к историческим личностям, к повышению их веса в историческом повествовании, но не о появлении нового отношения к этим личностям, не о новом понимании их характеров. Это достаточно отчетливо видно хотя бы на примере Степенной книги. Степенная книга служит ярким образцом интереса к личности русских исторических деятелей. Вся русская история сводится в ней к биографиям великих князей и митрополитов, к их характеристикам. Но в каждой из этих биографий и характеристик нет еще пока ничего принципиально качественно нового. Весь арсенал средств для характеристик заимствован в Степенной книге, как это неоднократно отмечалось уже, из житийной литературы или, реже, из Хронографа. Степенная книга была явлением параллельным к макариевским Четьям mineям и не случайно, что обе эти „энциклопедии“ XVI в. вышли из одного и того же кружка книжников. Но житийная похвала не была еще характеристикой в полном смысле этого слова: „житие — не биография, — говорит В. О. Ключевский, — а назидательный панегирик в рамках биографии, как и образ святого в житии — не портрет, а икона“.¹

¹ В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. II, 1923, стр. 314—315.

Следовательно XVI век отмечен ростом интереса к историческим личностям, но этот рост — пока лишь количественный; качественно интерес этот остается все тем же. Новое понимание человеческого характера начинает складываться лишь в произведениях XVII в., посвященных „Смуте“.¹ Они-то и составят главный предмет нашего дальнейшего рассмотрения.

* * *

Исторические сочинения первой половины XVII в., посвященные „Смуте“, резко отделяются от предшествующих летописей рядом особенностей и в первую очередь особым интересом к человеческому характеру и новым к нему отношением. Характеристики — составляют отныне одну из главных целей исторического повествования, они не только увеличиваются количественно, но и изменяются качественно. По сути дела „Временник“ дьяка Ивана Тимофеева представляет собою собрание характеристик деятелей „Смуты“ и событий „Смуты“. Вследствие этого автор не стремится к фактической полноте и последовательному хронологическому изложению событий. Тимофеев не столько описывает факты, сколько их обсуждает. Его „Временник“, в особенности в том, что касается событий после правления Шуйского, не отличается последовательной связью изложения: это очерки и характеристики, — в особенности последние.

Также точно и „Словеса“ И. Хворостинина состоят в основном из характеристик деятелей „Смуты“, начиная от Бориса Годунова. Во вступлении к своему труду Хворостинин выясняет цели своего труда: он желает описать „пастырей наших детели“, подвиги „великодушных муж, и бескровных мучеников, и победоносцев“.²

То же самое может быть сказано и о „Повести“ кн. И. М. Катыврева-Ростовского, в конце которой помещено даже особое „Написание вкратце о царех московских, о образех их, и о возрасте, и о нравех“.³

В известной мере тем же стремлением к обсуждению характера исторических личностей отмечено и „Сказание“ Авраамия Палицына, и „Иное сказание“, и „Повесть“ С. Шаховского и мн. др.

Этим интересом к интерпретации событий, а не к их фиксации, и, в особенности, к характеристикам участников этих событий отмечена вся литература о „Смутном времени“. Однако с наибольшей четкостью эта новая черта исторического сознания сказывается в русских статьях Хронографа второй редакции. Литературные достоинства второй редакции Хронографа и значение ее в развитии исторического знания на Руси до сих пор еще остаются недостаточно оцененными.

¹ Здесь и ниже пользуюсь выражением „смута“ лишь постольку, поскольку оно принадлежит самим писателям начала XVII в., так именно определявшим эпоху, послужившую предметом их исследования.

² Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 530.

³ Там же, стр. 619 и сл.

Самый состав Хронографа второй редакции обнаруживает в его авторе человека с незаурядной широтой исторических интересов. Предшествующая всемирная хронография в пределах от XI и до XVII в. в гораздо большей степени, чем русское летописание, была подчинена религиозным задачам. Всемирная история трактовалась по преимуществу как история церкви, как история православия в борьбе с ересями. Вторая редакция Хронографа — первый и крупный шаг на пути секуляризации русской хронографии. Это ярко выступает в тех дополнениях, которыми распространил автор второй редакции основное содержание Хронографа. Здесь и новые статьи из Еллинского летописца (преимущественно выдержки из хроники Иоанна Малалы, касающиеся античной истории), здесь и сочинения Ивана Пересветова, и дополнения из католических хроник Мартина Бельского и Конрада Ликостена. Из этих последних выписаны статьи географического содержания (например об открытии Америки), статьи по античной мифологии или общие статьи о магометанстве, по истории пап, по истории западноевропейских стран, по истории Польши. Все это не имело ни малейшего отношения к истории православия и даже противоречило ей. Неменьший интерес имеют и вновь включенные статьи, посвященные описанию наружности богоматери (из Слова Епифания Кипрского „О житии пресвятыя владичица наша Богородице“) и наружности Христа („Описание же божественныя Христовы плоти и совершеннаго возраста его сиево бысть“). В них сказывается интерес к реальному „портрету“.

Благодаря всем этим дополнениям Хронограф второй редакции (1617 г.) отличается значительно более светским характером, чем предшествующий ему Хронограф первой редакции (1512 г.). Однако наиболее отчетливо этот светский характер второй редакции Хронографа обнаруживается в его подробном повествовании о событиях „Смуты“.

Как уже давно было отмечено,¹ рассказ Хронографа 1617 г. о событиях русской истории XVI—начала XVII вв. представляет собою единое и стройное произведение. Это ощущается не только в стилистическом и идейном единстве всего повествования, но прямо подчеркивается автором постоянными перекрестными ссылками: „о нем же впереди речено будет в Цареградском взятии“,² или „о нем же впереди речено будет“,³ „о нем же писах в царстве блаженныя памяти Феодора Ивановича“,⁴ „о нем же писах и преже“⁵ и т. п.

¹ А. Попов. Обзор хронографов русской редакции, вып. 2, М., 1869, стр. 117 и сл.

² А. Попов. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869, стр. 158.

³ Там же, стр. 188.

⁴ Там же, стр. 192.

⁵ Там же, стр. 194.

Важно при этом отметить, что и само это произведение, как и вся композиция второй редакции Хронографа, идет по пути той же секуляризации исторической литературы. В нем нет ссылок на священное писание, нет религиозного объяснения событий. Автор не приписывает „Смуту“ наказанию божью за грехи всех русских людей, как другие сочинители исторических произведений первой половины XVII в.

Этот светский дух пронизывает собою и всю систему характеристик деятелей русской истории. Перед нами в Хронографе второй редакции действительно „система“ характеристик: теоретически изложенная в кратких, но чрезвычайно значительных сентенциях, и практически примененная в изображении действующих лиц „Смуты“. Эта „система“ противостоит средневековой, она подвергает сомнению основные принципы агиографического стиля. В ней нет резкого противопоставления добрых и злых, грешных и безгрешных, нет строгого осуждения грешников, нет „абсолютизации“ человеческого характера, столь свойственной идеалистической системе мировоззрения средневековья.

Человеческий характер объявляется автором второй редакции Хронографа сотканным из противоречий, сложным, в известной мере „относительным“, соотнесенным со средой, условиями жизни, особенностями биографического порядка. „Не бывает же убо никто от земнородных безпорочен в житии своем“,¹ объявляет автор Хронографа. „Но убо да никто же похвалится чист быти от сети неприязньственаго злокозньствия врага“,² повторяет он. „Во всех земнородных ум человек погрешителен есть, и от добраго нрава злыми совратен“, иначе говоря, — каждый человек в той или иной степени „совращен“ от „добраго нрава“, данного ему при рождении. Нет, следовательно, во-первых, людей только злых или только добродетельных, и, во-вторых, человеческий характер формируется жизнью.

Живой пример такого „совращения“ доброго нрава на злой — Иван Грозный. Первоначально Грозный — образец доброго, мудрого и мужественного царя: „Он же убо имый разум благообычен, и бысть зело благоумен, еще же и во бранех на сопротивныя искусен, велик бе в мужестве, и умеа на рати копием потрясати, воиничен бо бе и ратник непобедим, храбросерд же и хитр конник; той убо варварския страны аки молния борзо обтече, и вся окрестныя устраши, и прегордыя враги покори. Бысть же и во словесной премудрости ритор, естествословен, и смышлением быстроумен, доброзрачен же и благосерд в воинстве, еще же и житие благочестиво имый, и ревностью по бозе присно препоясая...“.³ Но стоило умереть Анастасии Романовой, поддерживавшей в Грозном его „добрый“ от природы нрав, как характер его резко меняется, — от старого не остается и следа. Перед

¹ А. Попов. Изборник... , стр. 186.

² Там же, стр. 189.

³ Там же.

нами другой человек, с диаметрально противоположным характером: „Блаженная же и предобрая супруга его не во многих летех ко господу отиде, и потом аки чюжая буря велия припаде к тишине благосердия его, и не вем, како превратися многомудренный его ум на нрав яр, и нача сокрушати от сродства своего многих, такоже и от велмож синклитства своего; во истину бо сбысться еже в притчах реченное: яко парение похоти пременяет ум незлобив. Еще же и крамолу междоусобную возлюби, и во едином граде едины люди на другия поусты, и прочая опричиненныя нарече, другия же собственны себе учини, земщиною нарече. И сицевых ради крамолств сына своего болшаго царевича Ивана, мудрым смыслом и благодатию сияюща, аки незрелый грозд дебелим воздухом отрясе, и от ветви жития отторгну, о нем же неции глаголаху, як от отца своего ярости прияти ему болезнь, от болезни же и смерть...“¹

Если в этой характеристике Грозного автор второй редакции Хронографа еще зависит от Курбского и, следуя за этим последним, распределяет добродетели и злодеяния Грозного во времени, относя первые к первой половине царствования, а вторые ко второй, то во всех последующих характеристиках автор второй редакции Хронографа уже не прибегает к такому механическому разделению свойств характера во времени. Он совмещает их одновременно в одном и том же человеке, впервые в истории русской исторической мысли создавая жизненно-противоречивые характеристики исторических лиц, создавая образы, полные „шекспировских“ противоречий, драматизируя историю душевной борьбой, внося в них коллизии, борьбу, и творя характеры, которые впоследствии действительно привлекли внимание драматургов.

Сознательной противоречивостью исполнена характеристика Бориса Годунова; противоположные качества его натуры как бы нарочно сопоставлены, сближены в одной и той же фразе с тем, чтобы подчеркнуть противоречие: Борис „аще и зело преразсудительное к народом мудроправльство показа, но обаче убо и царстей чести зависть излия“.² Подробная характеристика Бориса, с которой начинается повествование о его царствовании во второй редакции Хронографа, вся построена на этом совмещении положительных и отрицательных качеств его характера: „Сей убо государь и великий князь Борис Федоровичь Годунов в свое царство в Руском государстве градов и монастырей и прочих достохвалных вещей много устроив, ко мздоиманию же зело бысть ненавистен, разбойства и татьбы и всякого корчемства много покусився еже бы во свое царство таковое на богоугодное дело искоренити, но не возможе отнюд. Во бранех же неискусен бысть: время бо тому не настояше, оруженосец же и зело изящен, а естеством светлодушен и нравом милостив, паче же рещи и нищелюбив, от него же мнози доброкапленныя потоки приемльше и от любодаровитыя его длани

¹ А. Попов. Изборник, стр. 186.

² Там же.

в сытость напिताвшеся, всем бо не оскудно даяния простирашеся не точию ближним своим и сыновом руским, но и странным далним и иноплеменным аки море даяния и езеро пития разливашеся всюду, яко каменья и древа и нивы вся дарми его упокоишася, и тако убо цвѣтятся аки финик листвием добродетели. Аще бы не терние завистныя злобы цвѣт добродетели того помрачи, то могъ бы убо всяко древнѣм уподобитися царем, иже во всячественем благочестии цвѣтущим. Но убо да никто же похвалится чист быти от сети неприяньственаго злокозньствія врага, понеже сей перстною плотию недуговаше, зело возлюбѣ, и к себе вся приправливая, и аки ужем привлекаше".¹

Из тех же противоречивых черт соткана и характеристика патриарха Гермогена. Признавая, что Гермоген был „словесен муж и хитроречив“, составитель второй редакции Хронографа тут же добавляет „но не сладкогласен“, и дальше: „а нравом груб и бывающим в запрещеніях косен к разрешеніям, к злым же и благим не быстро распрозрителен, но ко лстивым паче и лукавым прилежа и слуховерствователен бысть“.²

Соткана из противоположных качеств в Хронографе и характеристика Ивана Заруцкого: „не храбр, но сердцем лют и нравом лукав“.³ Достаточно сложна характеристика Козмы Минина: „аще и не искусен стремлением, но смел дерзновением“,⁴ и т. д.

Вслед за автором второй редакции Хронографа эту противоположность, контрастность человеческого характера подчеркивают и другие авторы исторических сочинений первой половины XVII в.

„Этикетность“ прежних летописных характеристик по немногим рубрикам (либо законченный злодей, либо герой добродетели) исчезает в произведениях начала XVII в. Прямолинейность предшествующих характеристик отброшена, — и с какою решительностью! Вслед за второй редакцией Хронографа наиболее резко сказывается новый тип характеристик во „Временнике“ Ивана Тимофеева. Характеристика Грозного составлена Иваном Тимофеевым из риторической похвалы ему и самого страстного осуждения его „пламенного гнева“. Все люди причастны греху: „сице и сему (т. е. Грозному) осрамившуся грехом, ему же причастни вси“.⁵ Тимофеев дает разностороннюю и очень сложную характеристику Борису Годунову и утверждает, что обязан говорить и о злых и о добрых его делах: „и яже злоба о Борисе извѣстана бе, должно есть и благодеяній его к миру не утаити“.⁶

Тимофеев как бы считает себя обязанным писать о добродетелях Годунова, поскольку он писал и о его „злотворных“: „Елика убо зло-

¹ Там же, стр. 189.

² Там же, стр. 201.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 202.

⁵ Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 278.

⁶ Там же, стр. 339.

творная его подробну написати подщажомся, сиче и добротворивая о нем исповедати не обленимся".¹

Двойственность, контрастное совмещение скверных и добрых качеств в характеристиках Тимофеев считает знаком их беспристрастности: „И да никто же мя о сих словесы уловит, иже о любославнем разделением: во овых того есм уничижая, в прочих же, яко похваляя".² И в другом месте: „егда злотворная одинако изречена бы, добрая же от инех сказуема, нами же умолкнута, — яве неправдование обнажилось бы списателево; а иже обоя вправду известуема без прилога, всяка уста заградятся",³ т. е. никто не сможет возразить и упрекнуть автора в пристрастии, в односторонности, если он будет отмечать в человеке и злые и добрые черты. Положительная же или отрицательная характеристика — лишь обнажает „неправдование" писателя.

Иван Тимофеев не может решить, какая из чаш весов перетянет после смерти Бориса: „В часе же смерти его никто же весть, что воздоле и коя страна мерила претягну дел его: благая, ли злая".⁴

Так же, как и автор второй редакции Хронографа, Иван Тимофеев, не рассматривает злое и доброе начала в характере человека как нечто извечное и неизменное. Впервые в русской литературе писатели начала XVII в. стремятся выяснить причины появления и роста в характере исторического лица тех или иных качеств, рассматривают влияние одного человека на другого. Автор второй редакции Хронографа отмечает влияние Анастасии Романовой на Грозного; Иван Тимофеев, как один из факторов добродетели в характере Бориса, отмечает доброе влияние на него со стороны царя Федора Иоанновича. „Не вем вещи силу сказати, откуда се ему доброе прибысть: от естества ли, ли от произволения, ли за славу мирскую... Мню бо, не мал прилог и от самодержавнаго вправду Феодора многу благу ему навикнути, от младых бо ногот придержася пят его часто".⁵

Впервые, следовательно, в русской литературе был поднят вопрос о факторах, обуславливающих появление тех или иных черт в человеческом характере. Вневременная и абсолютная сущность человеческого характера, какой она представлялась в средневековье, поколеблена. Автора уже не смущает их изменчивость, как не смущают и контрасты. Иван Тимофеев различает следующие слагаемые человеческого характера на ряду с „естеством": „произволение", т. е. свободный выбор человека, „за славу мирскую", т. е. тщеславие — оглядку на людское мнение, и, наконец, непосредственное влияние других людей — в данном случае царя Федора.

Перемена этих слагаемых вызывает изменения в человеческом характере. Так же как у автора второй редакции Хронографа — Гроз-

¹ Там же.

² Там же, стр. 331.

³ Там же, стр. 339.

⁴ Там же, стр. 341.

⁵ Там же, стр. 340—341.

ный, у Ивана Тимофеева — Борис Годунов меняет свой характер под влиянием изменения внешней обстановки. Эта перемена картинно изображена Иваном Тимофеевым.

„Сице и Борис, егда в равночестных честен бе и по цари вся добре управляя люди, тогда ко всему благ являя, во ответех убо обреташеся сладок, кроток, тих, податлив же, и любим бываше всем за обиды и неправды всякия от земля изытелство, яко едину ему такову по цари праведну тогда мняху вси во всецарствии обрестися. Сего, такового правосудства ради, и к церковию помазанию вси людие земли о нем усладившеся предкнушася: в получении жь толика преестественна вышотою сана и несвойственна ему такова по всему чина, егда паче естества си совершенно одеся преславнаго царствия превсесветлаго благолепия порфирию, тогда мирови о мнящихся ими благих солган бысть надежду, еже о нем чаянием упования лучшаго, к нему купно и душевне верою. По получении же того величеством абия претворся и нестерпимо всяко, всем жесток и тяжек обретесе; о людех варив благотворенном малем и прелсти державу свою“.¹

Сложная и контрастная характеристика Бориса обошла всех писателей, писавших о „Смуте“ после 1617 г. Она сказала не только во „Временнике“ Ивана Тимофеева, но и в „Словесах дней и царей и святителей московских“ Ивана Хворостинина. У него мы видим то же совмещение в образе Бориса противоречивых качеств: „Аще бо и лукав сый нравом и властолюбив, но зело и боголюбив; церкви многи возгради и красоту градскую велелепием исполни; лихоимцы укроти, самолюбных погубив, областем странным страшен показася, и в мудрость житна мира сего, яко добрый гигант, облечесе и прием славу и честь от царей“. А затем без всякого перехода: „И озлоби люди своя, и востави сына на отца и отца на сына, и сотвори вражду в домах их, и ненавидение и лесь в рабех сотвори, возведе работных на свободных, и уничижи господа на началствующих, и соблазни мир и введе ненависть, и востави рабов на господей своих, и власти сильных отъят, и погуби благородных много, иже нелепо есть днесь простерти слово, да не постигнет нас время, повести деюще“.²

Контрастная характеристика Бориса предложена читателям и в „Повести“ И. М. Катырева-Ростовского: „Бысть же той Борис образом своим и дела множество людей превозшед; ни кто бе ему от царских синклит подобен во благолепие лица его и в разсуждение ума его; милостив и благочестив, паче же во многом разсуждении доволен, и велеречив зело, и в царствующем граде многое дивное о себе творяше во дни власти своея. Но токмо едино неисправление имяше перед богом и всеми людьми: во уши его ложное приношаху; радостно тово послушати желаше и оболганных людей без рассуждения напрасно

¹ Там же, стр. 362—363.

² Там же, стр. 532.

мучителем предаваше. И властолюбив велми бываше, и начальников всего Росийского государства и воевод, вкупе же и всех людей московского народу, подручны себе учини, якоже и самому царю во всем послушну ему быти и повеленное им творити".¹

Остались чужды этой характеристики Бориса лишь „Иное сказание“, испытавшее влияние второй редакции Хронографа, но в своей начальной части более всего зависящее от „Повести, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов“,² и, во-вторых, — „Сказание“ Авраамия Палицина, в основной своей редакции, составленной еще до 1617 г.

Проблема человеческого характера встала, таким образом, перед писателями первой половины XVII в. во всей ее сложности. Ее постановка повлекла за собой пересмотр многих основ средневековой оценки исторических явлений, средневековых исторических воззрений в целом. Самое зло и добро в применении к человеческому характеру оказались относительными. Эту мысль прямо декларирует автор второй редакции Хронографа, поясняя, что от зла может произойти добро, а от добра зло: „Бывает бо по случаю и пелынная лютость врачевания ради недуг в достохвалных словесех приобношается, тако же и от сеговыя злобы произыде доброта“.³

Замечательно, что характеры исторических лиц показаны в произведениях о „Смуте“ не изолированно. Они раскрываются в связи со слухами о них, в связи с народной молвой. В летописи не встречается передачи разных точек зрения на события, не согласных с авторской, характеристик не авторских. Между тем, авторы исторических произведений о „Смуте“ постоянно ссылаются на различные слухи, разговоры, толки, отчетливо осознавая значение „общественного мнения“.

Автор второй редакции Хронографа ссылается на разговоры о ссылке Нагих в Углич,⁴ об убийстве Борисом царевича Дмитрия,⁵ о поставлении Филарета Никитича,⁶ и т. д.

Характеры исторических лиц показаны на фоне народных толков о них. Вот как характеризуется, например, Самозванец: „глаголаше же о нем мнози, яко по' всему уподобитися ему нравом и делом скверному законопреступнику нечестивому мучителю царю Иулиану“.⁷ Передается и мнение народа о сыне Бориса Федоре Борисовиче: „о нем же мнози от народа тайно в сердцах своих възрыдаша за непорочное его житие“.⁸

¹ Там же, стр. 563.

² Точку зрения Е. Н. Кушевой на это произведение, как на основу для позднейшей „Повести 1606 г.“, известную только в составе „Иного сказания“, считаю доказанной („Из истории публицистики Смутного времени XVII в.“, Уч. зап. Саратов. унив., т. V, Саратов, 1926).

³ А. Попов. Изборник, стр. 193.

⁴ Там же, стр. 186—187.

⁵ Там же, стр. 188 и 189.

⁶ Там же, стр. 189.

⁷ Там же, стр. 192.

⁸ Там же.

Автор второй редакции Хронографа не стесняется приводить мнения, резко расходящиеся с его собственными. Он собирает все „за“ и „против“, подвергая их строгому разбору. Так, например, в Хронографе полностью переданы слова сторонников Тушинского вора о Василии Шуйском, которого автор второй редакции Хронографа в общем идеализирует. Эти „крамольницы“ и „мятежницы“ так отзывались о Шуйском: „а ныне его ради кровь проливается многая, потому что он человек глуп и нечестив, пьяница и блудник и всячествованием неистовен, царствования недостоин“.¹ В противовес этому мнению приводится и другое: „Сия же слышавше и мнози от народа рекоша к ним сице: «государь наш царь и великий князь Василей Иванович сел на Московское государство не сильно, выбрали его быти царем большие боляре и вы, дворяне, и все служилые люди, а пьянства и всякого неистовства мы в нем не ведаем; а коли бы таковому совету быти, ино бы тут были большие боляре да и всяких чинов люди»“.²

То же преломление характера исторического лица через народную молву, слухи, иногда сплетни опять-таки встречаются и во „Временнике“ Ивана Тимофеева, и в „Словесех дней“ Ивана Хворостинина.

У Тимофеева окружена этой народной молвой смерть Грозного: „Глаголаху же нецыи, яко прежде времени той, яростнаго ради зельства, от своих раб подъя угашение своея жизни, яко же и чадом его по нем они сотвориша тожде. Смерти же его во странах языческих, яко о празднице светле, много сотворися радость, и весело восплескаша руками“.³

У Хворостинина в связи с народными толками дана характеристика Гермогена: „яко же слышахом, етери глаголюще, яко соблазн и смущение патриарх той сотворил есть и возведе люди своя братися на враги, владуща нами...“.⁴

Итак, человеческие характеры не неизменны, они могут изменяться под влиянием других людей или с переменой обстоятельств. В них могут совмещаться и дурные и хорошие качества. Человек по природе своей ни абсолютно добр, ни абсолютно зол. Беспорочных людей нет. Противоречивость, контрастность авторских характеристик исторических лиц служат как бы удостоверением их объективности, так как только таким и может быть человек в представлениях первой половины XVII в. Характер человека преломляется в толках о нем. Историческое лицо оценивается в исторической перспективе в его „социальной функции“.

Это новое представление о человеческом характере сказывается во всех деталях восприятия исторических лиц.

¹ Там же, стр. 198.

² Там же.

³ Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 449.

⁴ Там же, стр. 556.

Старые средневековые добродетели уже лишены своего положительного значения. Безусловные добродетели оказываются относительными. Добродетели, заложенные в характере исторических лиц, сыгравших отрицательную роль в русской истории, оказываются только вредными. О Дмитрие Самозванце автор второй редакции Хронографа говорит: „ко книжному прочтанию борзозрителен, но не на благо“.¹ Внешность человека уже не соответствует попрежнему его характеру. Иван Тимофеев так, например, описывает внешность своих современников, легкомысленно предавшихся Самозванцу: „Вместо разума седину едину имуще и брадную власом долгость, юже являху людем и красахуся того, яко мудрии“.² Все большее и большее значение в характеристике исторических лиц приобретают их поведение, их действия. Это отчетливо видно в тех случаях, когда сравнение, образ, применяемый к человеку, имеет ввиду его действия, но не его внутреннюю сущность, которая, как мы видели, в известной мере признавалась непознаваемой. Автор второй редакции Хронографа вряд ли считает патриарха Гермогена похожим на птицу и, тем не менее, пишет, что его „аки птища в закlete гладом умориша“.³

Вследствие этой манеры применять к историческим лицам различные образные сравнения по их функции, по их действию, а не по их сущности, авторы прибегают к таким сравнениям людей, которые, казалось бы, совершенно не шли к ним с точки зрения эстетической системы нового времени: историческое лицо может быть уподоблено реке, буре, молнии, горе, раю, ограде и т. д.; оно может быть сравниваемо с различными дикими зверями, внешне мало похожими на человека. Автор второй редакции Хронографа сравнивает Бориса Годунова с „морем“, с „езером“;⁴ Дмитрия Самозванца он называет „злдыхательной бурей“.⁵ Тушинский вор — „злбесный и кроволакательный пес, или человекоядный зверь, иже лукавое око отверзе и злое рыкание испусти“.⁶ Федор Иоаннович, — говорит автор второй редакции Хронографа, — „ограда бысть многим благ, яже водами божиими напояема, или рай одушевлен, иже храня благодатная садовия“.⁷ Его же он называет „свеща страны Руския“.⁸

Все эти несовместимые с нашим эстетическим сознанием сравнения объясняются тем, что человек подвергается характеристике по „функции“, по своим „делам“. Об этом прямо однажды и заявляет автор второй редакции Хронографа, характеризуя Тушинского вора: „се

¹ Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 264.

² А. Попов. Изборник, стр. 192.

³ Там же, стр. 201.

⁴ Там же, стр. 189.

⁵ Там же, стр. 193.

⁶ Там же, стр. 197.

⁷ Там же, стр. 186.

⁸ Там же, стр. 188.

другое зло прииде, другой зверь подобен первому явился не образом, но делы".¹

Внешне этот способ характеристики человека еще очень близок средневековой системе, — самые образы старые, — но функция их в значительной мере новая, поскольку новым оказывается самое видение человеческого характера, восприятие человеческой личности, ее оценка. И то, и другое, и третье оказываются бесконечно более сложными, чем в предшествующий период, и, вместе с тем, более реальными, более близкими действительности.

* * *

В чем же исторические корни новых воззрений на человеческую личность, нашедших себе место в литературных произведениях начала XVII в.?

Новое отношение к теме человеческого характера отразило общее накопление опытного знания и отход от теологической точки зрения на человека, начавшийся в XVI в. и усиленно развивавшийся в XVII в.

Новое отношение к человеку было одним из проявлений постепенного процесса нарастания реалистических элементов в литературе.

Период крестьянской войны и польско-шведской интервенции способствовал огромному накоплению опыта социальной борьбы во всех классах общества. Именно в это время вытесняется из политической практики, хотя еще и остается в сфере официальных деклараций, теологическая точка зрения на человеческую историю, на государственную власть и на самого человека.

Чтобы представить себе конкретно влияние нового социального опыта на литературу, обратимся к некоторым фактам. Мы видели выше, что обсуждению в литературе подвергались в первую очередь характеры монархов. Это далеко не случайно. Здесь сказалась новая практика поставления на царство „всею землею“. Если в XVI в. Грозный в своих посланиях к Курбскому отрицал право подданных судить о действиях своего государя, утверждал богоизбранность монаршей власти, а в посланиях к Стефану Баторию насмешливо отзывался о его поставлении по „многомятежному человеческому хотению“, то вскоре после его смерти это положение резко изменилось: в 1598 г. состоялись первые выборы русского государя „всею землею“. Теологическая точка зрения на происхождение царской власти и идея неподсудности монарха человеческому суду получила первую, очень серьезную трещину.

Утвержденная грамота Бориса Годунова 1598 г., хотя внешне и опирается еще на идею божественного происхождения царской власти, но практически объясняет необходимость власти государя чисто „земскими“ причинами. Государь необходим для благосостояния своих подданных и об этом выразительным жестом заявил сам Годунов во время

¹ Там же, стр. 195.

своего венчания на царство: он взял за ворот свою рубашку и потряс ею, обещая и эту последнюю в случае нужды разделить со всеми для блага своих подданных.

Предвыборная горячка несомненно разжигала споры о достоинствах того или иного претендента на престол. Характер будущего монарха подвергался обсуждению в боярской думе, на соборе, среди ратников, в толпе народа у стен Новодевичьего монастыря, где народ, подгоняемый приставами, „молил“ Годунова на царство.

Уже упомянутая нами Грамота утвержденная 1598 г. одним из доводов в пользу избрания Годунова на царство выдвигала личные черты его характера: его государственную мудрость, его добродетели и его заботу о „воинском чине“.

Черты нового отношения к власти царя мы можем найти и в крестоцеловальной записи Василия Шуйского, и в грамотах патриарха Гермогена, и в июньском приговоре 1611 г., и в Грамоте утвержденной 1613 г., и т. д.

Крестьянская война постепенно вытравливала из народного сознания старое отношение к монарху, как к наследственному, богоизбранному и человеческому суду неподсудному началу. Человеческий суд совершился и над Годуновым, и над Василием Шуйским, и над многими самозванцами. Этот суд был сперва судом народного мнения, а затем и судом действия. Характеры монархов обсуждались людьми „юнными“, „малыми“, „простыми“ не в меньшей, может быть, степени, чем в среде боярства и дворянства.

Вслед за монархами обсуждение личных достоинств коснулось и всех руководителей ратного и „земского“ дела. Июньский приговор 1611 г. отчетливо отразил мысль о том, что начальниками должны быть люди способные, а не только бояре и княжата. История выдвинула тому и конкретный образец — „говядаря“ Кузьму Минина.

Черты человеческого характера стали, следовательно, предметами всеобщего обсуждения. Вопрос о них в отдельных случаях приобретал государственное значение. Вот почему и в литературе так часто начало упоминаться народное мнение.

Меньше всего в этом новом критерии для избрания „всенародным единством“ монарха или военного руководителя было заинтересовано боярство. Вот почему характеру русских правителей относительно мало уделяют места боярские писатели начала XVII в. — Авраамий Палицын, Катырев-Ростовский и некоторые другие. К ним, напротив, весьма внимательны писатели-обличители бояр — дьяк Тимофеев, автор второй редакции Хронографа и некоторые другие.

* * *

Итак, дело не в том, что сильные и сложные характеры в русской истории начинают якобы появляться только с XVI в., а в том, что сложность человеческого характера становится доступной писателям-

современникам только с начала XVII в., будучи подготовлена интересом к человеческой личности, определившимся еще в середине XVI в. Сильные и сложные характеры были в русской истории всегда, но лишь с начала XVII в. их научились замечать, видеть, и описывать — сперва в реальной политической жизни, затем в литературе.

Постепенная эмансипация человеческого мышления от представлений средневековья, вызванная сдвигами в материальной базе общества, привела к росту элементов реалистического видения. Еще многое в литературе XVII в., в приемах составления характеристик исторических лиц связано со средневековьем, восходит к житийной литературе, к Хронографу, но многое уже видится по-иному. Еще форма остается старой, но уже глаз воспринимает острее и наблюдательнее прежнего. Но самое замечательное в литературе начала XVII в. — это сознательность введения новых принципов характеристик исторических лиц. Авторы XVII в. не только по-новому описывают человеческий характер, но высказывают принципиальные суждения о том, каким он им представляется.

Недалеко то время, когда и самые приемы изображения человеческого характера изменятся, улягутся в новую литературную систему.

Итак, изменение в отношении авторов XVI—XVII вв. к человеческому характеру может быть изображено в такой последовательности: первоначально растет интерес к человеческому характеру и рост этот отмечен чисто количественным увеличением(?) числа и объема характеристик в произведениях XVI в.; затем — авторы исторических произведений начала XVII в. научаются видеть этот человеческий характер, замечают в нем многое такое, что не было доступно их предшественникам, и, одновременно, начинают высказывать новые суждения о человеческих характерах, осознавая их сложность и расходясь с идеалистической средневековой традицией; впоследствии, — через полстолетия — произойдет новое изменение в постепенном нарастании реалистических элементов в русской литературе, — авторы второй половины XVII в. не только удержат это новое видение, но сумеют найти ему и новую форму выражения. Каждый новый этап в этом „обнаружении“ характера непосредственно вызывался исторической действительностью.

Мы разобрали только один случай появления новых реалистических элементов в русской литературе, но наступление реалистичности идет по всему фронту литературного сознания XVI—XVII вв. и было бы очень важно, чтобы эти наблюдения над элементами движения вперед, а не только оглядка на „литературную традицию“ привлекали внимание историков русской средневековой литературы, в частности литературы XVI—XVII вв.
